

БИБЛИОТЕКА
КАЗАХСКОЙ
ПРОЗЫ

Оралхан БОКЕЕВ



Ардак

Оралхан БОКЕЕВ

Ардак

Рассказы

Переводы Анатолия Кима,
Юрия Домбровского,
Бахытжана Момышулы



АУДАРМА-БАСПАСЫ
АСТАНА-2003

36802(1)

ББК 84 Каз 7-44

Б 78

ВЫПУЩЕНА ПО ПРОГРАММЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ,
ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Бокеев Оралхан.

Б78 Ардак. Рассказы.

Астана: Аударма, 2003 – 72 бет.

ISBN 9965-18-065-2

Перо Оралхана Бокеева – лауреата Государственной премии, одного из самых талантливых казахских писателей, – не обыкновенно поэтично, хотя рассказывает он о людях простых, крепко стоящих на земле. Его произведения, в том числе те, что собраны в этой книге, созданы волнением сердца, преданно любящего родной мир, родную землю, величественные и таинственные горы, в которых человек остается один на один со своим одиночеством. Да, жизнь сурова, и она непрерывно испытывает на прочность и юную Ардак, и ее родителей, живущих в одинокой юрте на берегу озера, и гордого оленя Кербугу, и непокорного верблюжонка Буру... Все они страстно и мучительно ищут свободы, ищут смысл бытия, и этот поиск добавляет света в нашу жизнь...

Б 4702250201-70
00 (05) - 03

ББК 84 Қаз 7-44

© Издательство
«Аударма», 2003

© ООХКГ Казахстана,
В. Логинов

ISBN 9965-18-065-2

АРДАК

На берегу озера Маркаколь, там, где ручей Шарыкты впадает в него, стояла в давние времена небогатая юрта. Словно серый гусь, у которого убили подругу, оставалась на одном и том же месте эта юрта, и вокруг нее по широкому выгону бродил пасущийся скот. Козы, овцы и телята держались единым стадом, не разбредаясь, и над ними возвышался, словно внимательный пастырь, белый верблюд с широкими, чуткими ноздрями. Иногда среди его безмолвной паствы, молитвенно вцепившейся зубами в траву, появлялся гнедой мерин хозяина. Отпущенный на волю со спутанными ногами, гнедой неуклюже скакал вслед за другими, спеша поскорее наполнить свое необъятное брюхо.

Старик Кожа, хозяин юрты и стада, был человеком не безродным, Когда-то он жил в ауле. Подобно тому, как грива и хвост являются признаками лошади, так и родственники своим существованием подтверждают, что не безроден тот человек, у которого они имеются... Когда Коже было всего двадцать пять лет и умер его отец, младший сын деда Есиркегена, налетели дядья Шалабай с Далабаем, разделили имущество умершего на три части и, захватив каждый свою

долю, торопливо удалились. На прощание дядья сказали парню: “Покойный тебе был отцом, но нам-то он приходится родным братом!” И остался Кожа один с матерью на разоренном зимовье.

Вот тебе и родственники! Кожа не был лентяем, и потому через несколько лет он умножил доставшуюся ему часть отцовского имущества. Нашлась хорошенькая невеста для него, и ходивший еще недавно в голодранцах Кожа устроил богатый свадебный той. Приглашены были на свадьбу и дядья, но Шалабай с Далабаем отказались: “Сопляк женился, не посоветовавшись с нами. Не пойдем!” Но если бы этим только и обошлось... Завистливые родственники пустили слух, что при разделе имущества Есиркегена старуха Кадиша, мать Кожи, утаила для сына пару овец, а от тех двух теперь народилось, мол, пять штук. И среди бела дня Шалабай и Далабай угнали из стада племянника пять овец. Тогда-то и рассердилась на деверей старая Кадиша: “Как! Не постыдиться родных! На глазах у всего аула учинить разбой? Да лучше никогда не видеть таких родственников, чем жить рядом с ними и терпеть от них срамоту. Нет! Твой отец воспитывал тебя не так. Свалим-ка юрту и на рассвете уедем к Маркаколю — там у родничка Шарыкты есть никем не занятое пастбище”.

Назавтра уже дым из юрты Кожи взвился над пустошью у озера Маркаколь, и с того дня, словно галопом, пронеслось лет двадцать пять. Особенного благоденствия не принесли Коже прожитые годы, но и несчастливым не мог бы он считать новое место. Четверть века прошла в

трудах, Кожа смотрелся уже стариком, а всего богатства его хватило бы как раз на то, чтобы разок почаевничать как следует. И уже давно покинула этот мир старая Кадиша, зато пришла в него пригожая сильная Ардак. Она оказалась единственной у Кожи, и, сколь он ни бурчал, жена его так и не смогла расстараться на большее.

Перед смертью старуха дала наказ сыну:

— Пока не поздно, вернись-ка в аул к людям. Мы оказались похожи на тех, которые, рассердившись на вшей, бросают в огонь кожух. Обидевшись на родственников, мы оставили аул, и с тех пор ни ты, ни я дня не прожили без тоски по людям. Чего уж скрывать перед смертью... Люди, как говорится, солгали, да и мы правды не сказали, уж видит аллах. И еще говорят, что на людях и горе вполгоря. Возвращайся в аул, сынок, пускай даже натравят на тебя всех собак. Пускай пнут тебя ногою по голове, но, когда заболит у тебя самого нога или голова, только люди тебе помогут... А в этом несчастном доме, одиноком, словно заблудшая овца, нет даже савана, во что завернуть меня... И соседей нет, у которых можно было бы попросить. Вот оно как все обернулось... Но на это, видно, божья воля. Наказал нас аллах за какие-то грехи...

И правоту этих слов Кожа ощутил сразу же, как только не стало строгой, мудрой матери. Встретить свою смерть ей было легче, чем сыну видеть это, ибо она давно уже — всю жизнь — готовила себя к такой встрече, зная, что когда-нибудь с закрытыми глазами уйдет в вечность, а сын не был готов к подобной утрате; и в этот

тяжелый час не оказалось рядом с ним милых людей, которые могли бы разделить с ним горе. Даже могилу пришлось ему рыть самому — хорошо, хоть земля попалась мягкая, без камней. И над свежей могилой стояли трое: Кожа, его жена и пятилетняя Ардак. Она была поражена тем, что зарыли в землю уснувшую бабушку, но потом отвлеклась, увидев влажную глину, принялась лепить из нее кибитку. А Кожа шевелил губами, молитвенно оглаживая лоб и лицо ладонями.

Но время течет и уходит, как вода сквозь пальцы, и вот уже Ардак, недавно лепившая игрушку из могильной глины бабушки, стала взрослой девушкой. Подобна весеннему цветению пора девичества в шестнадцать лет.

Ардак, миловидная пастушка, помощница матери и отца, была для них одновременно и дочерью, и сыном. Не счесть достоинств прелестной девушки, а недостаток всего один. Язык ее не проворачивал раскатистого звука “р” — быть может, потому, что балуемая любящими родителями, она до сих пор чувствовала себя малым ребенком, кому так естественно картавить и шепелявить. Так и не научилась она твердому “р-р-р”, и это убивало ее добрых родителей. Они-то знали и горевали, что небольшой этот изъян может свести на нет все ее достоинства.

— Вот уж так получается, жена, как люди говорят: упадет с неба кусок кожи, а бедняку все равно даже на заплатку не достанется, — бывало, сердито жаловался отец. — Будем, будем мы еще за голову хвататься да по ляжкам себя хлопать,

что единственная дочь у нас почти, считай, немая... Это тебе не парень, который может, развалившись на коне, гаркнуть: “Эй, в лот тебе дышло! Плигнал вон лошадей табун! Отдавай свою ласплекласную дочь!..” И такому отдадут дочь, не посмотрят, что язык коротковат. Но кто же станет сватать косноязычную девку? Увидишь, мать, они будут смотреть не на ее лицо, а на язык...

— Ардак, слава аллаху, у тебя и за сына, и за дочь. Ну, не возьмут замуж — что ж, сварить ее и съесть? Значит, дома останется, на глазах у нас будет. Тебе поможет и мне...

— Эх, сами-то мы и виноваты! Жила бы она среди людей в ауле, так и не лопотала бы, как дитя.

Кожа познал бессонные ночи, во время которых со страхом думал о том, что крошечный изъян дочери может принести ей несчастье. И тогда от горя и забот голова его раздуется и загудит как медный таз... Измученный бессонницей и безысходными мыслями, Кожа вдруг впадал в ярость и пихал кулаком в бок мирно спящую жену.

— Эй, старая! Ты чего это, чтоб тебе сдохнуть, дрыхнешь днем и ночью? Или у тебя забот нет, кроме сна? Подумай, хрычовка, о будущем своей дочери, и чтоб у тебя сон навсегда пропал!

Жена знала, что теперь лучше помалкивать и никак не возражать старику. Она лишь просила кротко:

— Тише, не разбуди Ардак... — И, протяжно зевнув, замолкала.

Но, свирепея от ее равнодушия. Кожа тыкал ей под ребра локтем, вскакивал с постели и трясушимися руками нашаривал в темноте штаны.

— Дура старая! — ярится Кожа. — Твою дочь никто замуж не возьмет! Понимаешь, дура?!

Тут уж за ним поднималась и жена, вся взлохмаченная, и принималась ласково уговаривать расстроенного мужа. Кое-как успокоив старика, укладывала его снова в постель и, зевая, ложилась рядом.

— Ой-ба-ай, какой я сон хороший видела, а ты разбудил.

— Уй, чтоб твой сон... — ругался Кожа.

Некоторое время лежали молча. Затем он снова заговаривал:

— Мы, старая, во всяком случае, должны быть наготове. Копи потихоньку приданое. Пусть Шалабай и Далабай сплетничают сколько влезет, что моя дочь короткоязыкая. Все равно найдется добрый человек для нашей Ардак... А этого Шалабая в тот раз не то что потчевать — камчой нужно было угостить и выгнать вон, мать его и отца... А ведь ты, все ты виновата! Я так и хотел сделать, а ты вцепилась, запрочитала: “Ой, да ведь твоя кровь, твоя родня!..” А эта родня сейчас повсюду распускает сплетни... Эй, ты слышишь?

В ответ жена тихо посвистывала носом.

— У, чтоб тебе не проснуться. Все бы дрыхнуть хрычовке старой... Если б не эти сплетни, давно бы уже переехал в аул...

Кожа упоминал о единственном посещении дяди Шалабая, после чего и разнеслась по округе молва, что у дочери Кожи коротенький язык и

она лопочет, словно у нее во рту каша. Несколько лет назад это было. Шалабай с сыном Алмасом ехал к родственникам своей жены и по дороге завернул к юрте племянника, поскольку она была на пути. Кожа помнил еще все старые обиды, особенно возмушало то, что дядя не приехали даже на похороны его матери.

— Ассалаумагалекум! — Шалабай просунул голову в юрту и заюлил глазами, не зная еще, войти ему или лучше убраться восвояси.

Кожа только успел поджать губы и вонзить в него яростный взгляд, а старуха уже вспорхнула навстречу, закудаhtала:

— Ой-ба-ай! Деверь приехал! И сынок с ним! Проходите скорее! — И принялась целовать мальчишку, ровесника Ардак.

После чего незаметно подмигнула мужу, вызывая его на улицу. Там и молвила:

— Эй, сказано ведь, что ударившего камнем побей угощением. Кожа! Зачем упрямисься? Ведь твоя кровь, твоя родня, кто сможет отрубить собственную руку?.. Давай-ка лучше угостим его как следует, и пусть будет доволен на том свете дух нашей матушки.

И тогда Кожа сдался. Он пригнал стадо, выбрал овечку и, подведя ее к Шалабаю, который вышел на улицу, сказал:

— Ну, дядя, благословите, коли она вам нравится!..

Он хотел пристыдить дядю своим великодушием и радушием. А вышло, что зря старался...

Сынок Шалабая быстро сдружился с Ардак. Сначала они долго бегали, играли возле юрты в прятки, потом запыхавшаяся Ардак предложила:

— Ух, жата какая! Алмас, давай нылнем в озеро!

Оба разделись донага и с разбегу кинулись в воду. И тут Ардак, впервые в жизни видевшая другого ребенка и притом мальчика, поняла, что они разные...

А Шалабая очень заинтересовала висевшая на столбе юрты двенадцатихвостая камча. Он долго любовался плеткой, а когда из юрты все вышли, быстро схватил ее и сунул себе за голенище. Шалабай остался весьма доволен своим приездом к племяннику. Уже попрощавшись, дядя сидел на коне, когда подбежала Ардак и весело крикнула:

— Алмас, плиезжай к нам есе!

Шалабай разинул рот и изумленно уставился на девочку.

— Эй, что это? Неужели у вашей Ардак куцый язык?

— Да нет же! — с досадой отвечал Кожа, хмурясь. — Девка балованная, нарочно язык ломает, будто маленькая...

Но по дороге Алмас сказал отцу, что Ардак не притворяется маленькой, а и на самом деле косноязычная, шепелявит и картавит, что она даже не знает различия между мальчиками и девочками. Шалабай, слушая сына, радостно ухмылялся. Он представил, как расскажет об этом Далабаю и всем, а через это зазнайке-племяннику сделается неприятность и, может быть, даже горе. И повеселевший Шалабай огрел камчой лениво трусившую лошадь, и та пошла бодрой рысью.

Вскоре вся округа знала о том, что у одноюртника Кожи дочь косноязычная, почти что немая. Кожа повсюду слышал намеки об этом и копил в душе мрачную злобу, собираясь при случае расквитаться с дядей. И случай скоро представился. То было прошлой осенью.

Кожа ехал к Жакибаю-кузнецу, чтобы подковать гнедого, своего единственного коня. День был сырой, дорога грязная, мягкая — как раз для лошади со сбитыми подковами. А схватит морозом землю, так по ней не поедешь на раскованной лошади. Солнце плутало где-то в ворохах серых туч, с севера дул сырой ветер. На голем тополе сидели вороны и громко обсуждали предзимние свои дела. Коже не по себе было при виде осенней непогоды, он хмурился и крепче запахивал на груди чапан.

Вот, думалось ему, за полвека жизни появилась у него одна радость, одно счастье — милая дочь, и большего не нужно было, и он был неизменно доволен, так позавидовали злые люди, а спокойствие его стало расплываться, как помет чирка в воде озера. Не было у него воспоминаний о каких-нибудь великих радостях, но не было и таких воспоминаний, при которых невольно станешь за голову хвататься да по ляжкам себя хлопать. Он не морочил себе голову тревогами о завтрашнем дне — была бы сегодня еда, — а мечты свои держал при себе, как держат лошадей на привязи... Бывало, забирался он на вершину Акшоки и стоял там, подолгу глядя скорбными глазами в сторону оставленного им аула. Горы и миражи громоздились перед ним, в груди тлела

застарелая боль. потом он возвращался домой неутешенный, утомленный, с осунувшимся лицом. И он желал только одного: чтобы злоба и подлость людская, от которых он бежал, больше не коснулись его. Но они коснулись его дочери...

Вот о чем думал Кожа на дороге в осеннюю распутицу, и от невеселых этих мыслей голова его разбухла и гудела, как медный таз. И представляется теперь Коже, что вся его жизнь была безрадостной, как эта погода, неуютной, как осенний холод, и неверной, как спотыкающийся шаг его не подкованной лошади. На перевале через Акшоку увидел Кожа едущего навстречу всадника. Единственная тропа неизменно должна была свести вскоре обоих. По сутулой посадке всадника и по тому, что тот держит камчу в левой руке, Кожа издали признал в нем своего дядю Шалабая. “О аллах, аллах, — подумал Кожа, закрывая глаза, — спасибо тебе и помоги мне! Встречу-ка своего врага разящей грудью коня! Ну-ка, гнедой!..” — И он, соскочив с лошади, подтянул туже подпруги, плотно натянул шапку, готовясь к бою. Ловко вскочив в седло, он перехватил камчу и, вмиг изменившись в лице, яростно заскрежетал зубами. Затем он бросился в атаку на дядю, громогласно призывая на помощь дух предка:

— Есиркеген! Есиркеген!

Но, поскольку Шалабай, не дрогнувший перед противником, тоже решил призвать на помощь дух своего предка, то боевой клич у него получился таким же:

— Есиркеген!! — И с этим возгласом дядька помчался навстречу Коже, размахивая камчой.

Они сблизились на узкой тропе и, воскликнув одновременно: “Вижу врага!” — яростно перетянули друг друга плетками и на всем скаку разъехались. Но никто из них не остановил коня, не повернул назад и даже не оглянулся: оба почувствовали стыд — каждый лишь недобро помянул “твоего отца”, — тем самым Есиркеген вновь был потревожен в гробу... Они удалялись друг от друга, каждый мрачно насупившись, испытывая взаимную ненависть, рожденную в душных распрях, в чаду казанов и тесноте юрт; ненависть, которая росла и крепла с годами; она может и погубить их однажды и сделать несчастными. И могли знать Кожа, весь кипящий ею, что всего через пять лет умрет безвременно Шалабай, теперь поднявший камчу на племянника, а он сам с воплем: “Ой, родной ты мой! Ой, дядя!” — будет биться на земле у могилы прощенного родственника... И на поминки будет зарезан и съеден этот бедняга гнедой, на котором он едет.

* * *

Но еще не скоро до этого примирения. А пока что Кожа продолжает жить на берегу Маркоколя, пасет свое стадо, и красавица дочь помогает ему.

Несмотря на мирную тишину пастушеской жизни, в душе Ардак росло беспокойство. Раньше она знала из людей только мать да отца, видела овец, белого верблюда и гнедого мерина, а все остальные, что появлялись вдали и проезжали мимо, казались ей жителями сказочных стран. И вот теперь, после посещения родственников все

переменилось. Хотя Ардак и не могла понимать сама, что означает ее таинственное беспокойство, но становилось все яснее, что жить так, в этой удаленности от людей, она больше не может и не хочет.

Ее мальчишеские хватки постепенно исчезали, все более смотрелась она девушкой. На смену буйству и озорству пришло ласковое, чувствительное обращение с родителями, и те, умиляясь до слез, тревожились, однако, про себя. Они понимали, что проснувшейся девушке трудно будет противостоять природным священным силам, но кто откроет ей тайну и увенчает ее первое чувство достойным счастьем?..

Ардак словно тихо плыла в том затишье мира, что может быть названо меженью яви и сна, и никакие силы на свете не смогли бы оторвать ее от странных, сладко мучающих видений. В юрте она теперь почти не бывала — подолгу бродила по мураве озерного берега, уходила далеко в горы и там где-нибудь в ущелье стояла, затаившись, словно ждала к назначенной встрече милых друзей-товарищей. А то часами неподвижно просиживала на берегу Маркаколя, обхватив колени руками, глядя на бегущие друг за дружкой сверкающие волны. Они словно обещали какое-то утешение и утление, и Ардак, наконец поверив их монотонному долговому зову, сбрасывала душную одежду, чтобы броситься в студёные объятия озера. Успокоив прохладой воды горячее тело, Ардак выплывала к берегу и шла на сухую землю, растирая руками упруго отзывающееся, с

прохладной кожей тело. С томительным недоумением всматривалась она, склоняя над гладким мелководьем голову, в отражение своей белой, молодой, текучей и вздрагивающей плоти. Новое знание смущало и неотступно тревожило ее душу.

Оно пришло к Ардак в тот день, когда она вместе с Алмасом купалась в озере. С тех пор прошло много времени, осталась позади зима, когда зноен и причудлив был среди окружающих снегов мятежный девичий сон, а теперь весна, обильная, травяная, теплая, шла по земле, и, обнаженная, как белое облако, стояла у синего края озера Ардак...

Все чаще не спали старики по ночам, обсуждая грустное положение своей выросшей дочери. И всегда эти ночные бдения кончались безысходным препирательством супругов.

Однажды, когда они поругались, а затем, полежав в печальной тишине, вдруг разом захрапели, незаметно объятые сном, Ардак тихо поднялась с постели и в одной рубашке вышла из юрты.

Весенняя ночь незримо вплыла в пределы близкого лета, уже приятной была свежесть, и что-то даже жаркое порой проносилось, как затаенный вздох, по ночному берегу Маркаколя. Ардак села у самой воды, белая, неподвижная, словно русалка, и подлунные сонные волны извивались у ее ног. Обняв опрокинутые чаши коленей, она покачивала головой и едва слышно напевала любимую песню матери:

Серый всадник с ружьем,
аул твой родной
за горою уже,
за синей горою...

Внезапно оборвала песню, словно сердито отбросила в сторону, и легла лицом в песок, неистово рыдая. Потом вскочила, решительно побрела в озеро, зашла по самое горло и, почти касаясь губами лунного блеска воды, прошептала: "Алмаз... Чего ж ты не приедешь... Я купаюсь одна". Не видевшая, кроме своего юного родственника, ни одного мальчика, Ардак простодушно считала, что стоит только им снова поплескаться вместе в озере, как вся ее темная тоска исчезнет. И озеро жарко льнуло к ее лицу частыми, частыми бликами.

* * *

В этом году берега Маркаколя обсохли и зацвели буйно. Молодая трава жадно пошла в рост из-под засохшей, прошлогодней. Весенние дали, тонущие в мареве, мягко сливались с подножием голубого неба. Гладкое озеро отражало это яркое, без единого пятнышка небо. словно белая пряжа, протянутая у гор Тарбагатая, длинное облако отделяло снежные вершины гор от земли, и они казались плывущими в небе. Воздух сегодня словно был напоен ароматом свежего кумыса. Стремительно летевшие чирки снизились и с ходу, рассекая воду грудью, опустились на озеро, закачались среди волн.

Все эти картины давно уже привычны для Кожи — из года в год они повторялись, и природа порою казалась ему однообразной, скучной, безыскусной, как и его будничная жизнь. Тогда и хотелось ему бросить все, уйти на неизведанную новь, да куда уйдешь! Быстро скачет по степи кулан, быстрее ветра, да разве ускачешь от себя. Нет! Видно уж, никуда не уйти ему от берегов Маркоколя — связала их меж собой крепкая веревочка.

Вон у подножия Акшоки, на холме, покато, как лоб Кожи, пасется стадо — весь базар его жизни, все имущество и вся надежда... Прищурившись, он долго смотрит на свой скот. Если бы ангел смерти Азраил пришел за ним, то, безусловно, вместе с душою пастуха он должен был бы взять и его стадо. То самое стадо, которое у Кожи не уменьшалось и не увеличивалось — хозяйство его из года в год катилось по одному и тому же кругу, не принося обильных доходов, но и не вызывая тревоги за день завтрашний. Кожа давно уже перестал надеяться, что удастся умножить стадо, смирился со своей долей и успокоился — тревогу внушало теперь только одно: будущее дочери.

— Дожил человек... еще одно лето увидел, — пробормотал Кожа, глядя на горы. — Вся жизнь прошла, словно ночь для коня, который на привязи... да еще и расседлать забыли беднягу...

Заложив руки за спину, он возвратился к юрте. Старуха, уже поднявшись, готовила завтрак. Кожа сурово посмотрел ей в спину.

— Ардак встала?

— Наверное, никак не проснется...

— Полеживает, значит. Что скажешь, если она вся в мать.

И вот уже сидят втроем, пьют чай, словно три ноги одного таганка. Полог юрты откинут, видна вдаль Акшоки — Белая гора. Прохладный ветерок обдувает юрту, жаркое солнце освещает передний угол. Кожа сидит за чаем сумрачный, недовольно хмурится, словно считает убытки. И вдруг глаза его оживились, сверкнули: он увидел вдаль всадника, спускавшегося со стороны Акшоки.

— Эй, бабка! — засуетился Кожа и опрокинул даже кесушку с чаем. — Кто-то едет сюда! Скорее прибери в юрте. Да повеселее! — И он торопливо вскочил.

Пока женщины наводили в юрте порядок, Кожа принес и бросил перед ними связку кизяка.

— Засунь это под тюки с вещами, а сверху все накрой ковром.

— Ой бай, да зачем же это?

— Дура! Затем, чтоб тюки казались повыше. Чего спрашиваешь? Или приданого у твоей дочери так много, что уже потолок подпирает? Клади, тебе говорят!

Ардак не понимала причины столь внезапной суматохи. Отец прикрикнул и на нее:

— Надень все новое! И чтоб мне рта не раскрывать, пока гость будет здесь, поняла? Ни словечка не смей говорить!

Наконец подъехал к юрте гость. Рослый рябоватый джигит, слегка перезрелый, то ли еще не достигнувший, то ли чуть перешагнувший

рубеж тридцати лет. Кожа пригласил его в юрту, усадил на почетное место и, сам усевшись напротив, с надеждой высматривал в лице гостя следы доброты.

— Рассказывай, сынок, кто ты, из какого аула?

— Из аула Маметека я, род наш происходит от Кожамбета, — без особенного смущения, живо начал джигит. — Вот решил зверя пострелять по эту сторону Акшоки, вижу, юрта ваша стоит, дай заверну, думаю. Слышал я о вас много...

— Ну и молодец, что заехал! Всегда буду рад тебе, дорогой. Как там поживает бий Маметек? Цел ли его скот? Сам в силе еще?

— Слава аллаху, все хорошо.

— А звать-то тебя как, сынок?

— Салык...

Зарезали овцу, и, пока старик с женою разделывали ее, приезжий джигит и Ардак оставались в юрте вдвоем. Тот без стеснения во все глаза тарашился на пригожую девушку. Он не мог отвести взгляда от ее нежного лица и белой полоски шеи, сиявшей, словно драгоценное ожерелье, меж воротником чапана и черным блестящим крылом волос. Он готов был чуть ли не броситься на нее... а Ардак ничего не понимала. Она впервые в жизни видела молодого джигита, ничего особенного не вызывали в ней страстные его взгляды: раз смотрит, выпучив сверкающие глаза, значит, так и надо... Она только все время стесненно думала об одном: почему отец запретил ей говорить с гостем?.. Вот спросить бы его, не знает ли он случайно Алмаса. Спросить, как живут

люди в ауле... И чего он так смешно выпучивает глаза? Ардак, не выдержав, улыбнулась.

— Чему смеется сестра моя? — вежливо осведомился гость.

Молчание.

— Не хотите говорить... Что ж, такого ангела, как вы, только пиры да праздники могут развеселить. Не Ардак ли зовут сестру мою?

Ардак медленно кивнула. Как бы не лопнуть — так хочется засмеяться и говорить, говорить... Но где-то рядом отец, нельзя... Ах, сейчас бы выкупаться! А то от этих странных взглядов джигита становится жарко. Вот бы заманить в озеро да сунуть его огромную, как казан, черную голову в воду...

— Ардак! — послышался тут голос отца. — Иди помоги матери — кишки чистить и требуху.

Мясо съедено. Все сыты. Пора спать, и хозяйка принялась устраивать постели. Джигит вышел на улицу проветриться. Старуха спросила у мужа:

— Куда стелить гостю?

— Отстань, — лениво отозвался полусонный Кожа. — Куда хочешь, туда и стели...

Вот уже все улеглись. Ардак не спится. Старики же, как только коснулись головами подушек, тотчас захрапели — нарочно ли, вправду ли... Гость тихо лежит у дальней стены. В очаге еще светятся угли, и, глядя на красные мерцающие точки, Ардак чуть слышно шепчет свои зыбкие мысли: “Огонь не хочет спать, и я не хочу. А мама любит спать... и этот джигит тоже любит спать... он глупый к тому же”. Ардак тихо, бесшумно

поднялась с постели. Гость в темноте кашлянул и заворочался. Девушка постояла, ожидая, когда вновь настанет тишина, затем накинула чапан и осторожно направилась к выходу.

Была пора олиары — межлунья, над землею летела мягкая прохладная тьма, полная крупных звезд, которые висели совсем низко в небе. И в темноте ласково, влажно причмокивало озеро, от него веяло свежестью, ветерок нес в себе цветочный аромат травы. Где-то громко, тоскливо заржала лошадь: видно, гнедой соскучился по косяку. Даже конь не хочет жить в одиночестве, подумала Ардак.

Она подходит к озеру, и ей кажется, что Маркаколь за что-то сердится на нее. Тьма олиары скрывает в себе его сверкающий ночной лик. Ардак сбрасывает одежду, идет к воде, и тут слышит позади шум.

Привыкнув к темноте, она сразу же различила приближавшегося гостя. Тот подходил к ней, неуверенно нашаривая землю ногами. Но, подойдя к обнаженной девушке, он смело взял ее за руку и с приглушенным смехом произнес:

— Уважаемая, где это видано, чтобы люди по ночам купались!

— А я... я всегда купаюсь, — простодушно отвечала Ардак.

— И не страшно?

— Нет.

— И не замерзаешь?

— Я не мелзну в воде, — говорила высокая и белая, как русалка, Ардак. — Давай вместе искупаемся? Поплывем на селедину озела.

— Я, кажись, плавать не умею, — отвечал джигит, однако поспешно стянул с себя одежду. — Эх, купаться так купаться!

Приблизившись к девушке, он как бы невзначай положил руку на ее крутое бедро, белое, гладкое. Ардак, как испуганный зверь, отскочила в сторону, и джигит оробел: сейчас рассвирепеет дикарка и покалечит его. Но, остановившись поодаль, она замерла на месте.

— Ну, что с тобою, Ардак? — осмелев, спросил джигит.

— Не надо меня тлогать, — жалобно отвечала девушка. — Я не люблю щекотки, Салык.

И она бросилась в озеро, а он за ней, и вот уже обнимает он в воде упругое, юное, обильное тело, и она вырывается, брызгает ему в лицо водою, он снова и снова бросается к ней. Словно громадные белые окуни, резвящиеся в темном омуте, вьются друг возле друга, плещутся, выпрыгивают из темных волн. Ардак будто обезумела, она уже не боится щекотки, грубая хватка Салыка ее не пугает, она сама хватает джигита за горло и за волосы и несколько раз окунает его с головою в воду. Он чувствует, что еще немного, и сил уже никаких не хватит бороться с нею — закупает его, нахлебается он воды, ослабевает в неистовых руках девушки. Тогда он, изловчась, обвинил ее тугой трепещущий стан и стал впиваться поцелуями ей в губы, в шею — целовал до тех пор, пока она не стихла в его объятиях и не сникла. И тогда он выхватил ее из воды и, высоко подняв на руках, вынес на берег. И положил он ее на сухую одежду, покорную,

прекрасную, словно дочь владыки вод Сулеймана, и зачарованное тело послушно следовало тому, чему учила страсть, но вдруг встрепенулось оно и забилося, возмутилось и восстало. Салык был отброшен прочь в сторону, и напуганная Ардак понеслась, словно птица, с жалобным воплем куда-то во тьму. И смутное тело ее, белое, оскорбленное, скрылось в черных далях ночи.

А наутро Кожа, проснувшись, не увидел своего гостя. Сапоги его остались, а самого не было.

* * *

Прошло немало времени, и Кожа больше не надеялся, что его дочь кто-нибудь посватает. Салык как исчез, так и не показывал даже макушки из-за горы. И теперь бедного отца мучило не то, что дочь остается незамужней, а то, что с каждым днем походка ее становится грузнее, а сама она полнее. Старуха лишь на днях спохватилась и, что-то начиная подозревать, сунулась к нему шептаться об этом... Так он настолько расвирипел, что оттащил ее за волосы и поколотил. А то самое, что заставило его за двадцать лет совместной жизни впервые поднять на жену руку, с каждым днем становилось все яснее. Коже хотелось тотчас же умереть или вскочить на гнедого и уехать куда глаза глядят. Отчаяние одолело его. Говорят ведь, думал он, что хоть сорок лет длись война, а убит будет только тот, кто должен быть убит. Такова судьба...

Кожа в один день словно слинял, он больше уже не бушевал, не кипятился по любому поводу,

набрасываясь на старуху. Он словно отупел — стал ко всему равнодушным, тихим. И еще больше жалел он теперь, что вовремя не переехал в аул.

Ардак теперь тоже было не узнать. Свое новое состояние она осознать не могла и, лишь удивленная первыми признаками его, обо всем рассказала матери. Та прижала голову Ардак к груди и горько расплакалась. А затем, утирая слезы, рассказала дочери про Адама и Еву. “Сначала, — разъяснила мать, — человек был двуединым существом. Говорят, что у него было четыре ноги, четыре руки. Но потом бог понял, что в таком виде люди не будут размножаться. И он взял да и распилил человека пополам. Так вот и получились, говорят, парень и девушка, Адам и Ева, и между ними началась любовь”.

— А что это такое? — спросила с любопытством Ардак.

Мать повсхлипывала и замолкла и долго маялась, пытаясь найти правильный ответ на вопрос дочери. Промучившись достаточно, так и ничего не придумала, а рассказала на всякий случай несколько историй о влюбленных, вспомнив кое-какие старинные предания. И тогда Ардак, жадно слушавшая мать-старуху, взволнованно спросила:

— А у вас с отцом тоже была любовь, мама?

Старуха опять смолкла и затужила. И наконец промолвила:

— Не знаю, верблюжонок мой, не знаю... Он, бывало, частенько заезжал в наш аул. И вот однажды взял да и украл меня...

Для Ардак эти разговоры были бы полезны, услышь она их намного раньше. А сейчас они не способны были помочь девушке разгадать тайны сложного мира. Откуда появился этот Салык, зачем, куда он исчез и вернется ли когда-нибудь? — никто из троих не знал об этом.

Шло время, близились роды, и Ардак с каждым днем становилась беспокойнее. Беспечное девичество ее враз покрылось скорлупой материнства, и теперь молодую пастушку было не узнать. Ноги и бедра налились, раздались, красивое и чистое лицо покрылось пятнами, кончик носа изукрасился темными точками. Ее стало то и дело тошнить, но все равно она жадно набрасывалась на еду и никак не могла наесться. ~~Узнала~~ она душевную смуту, беспричинную тревогу, темный страх. Стоило живому плоду шевельнуться в ее чреве, как Ардак с криком бежала на улицу к матери.

И вот настала ночь, когда Ардак почти до утра не могла сомкнуть глаз. Родители, лежавшие, как и всегда, у двери, крепко уснули. Они долго стерегли в эту ночь, но под утро сон одолел их. Чадило и колебалось пламя на скрученном жировом фитиле. В дымной юрте стоял полумрак, было душно. Ардак лежала в поту, с искусанными губами. Испуганная, она решила терпеть что бы то ни было. Но чем больше новое дитя желало попасть в светлый мир, тем сильнее бушевало и мучило мать, пиная ее, отнимая у нее силы. Ардак, едва успев перевести дыхание после страшного приступа боли, съехала с постели. Объятые сном

“Атмас! — призывает она, плача. — Милый Атмас!” Отнес бы ее сейчас на руках в глубину озера. А то все дальше отодвигается оно, это коварное озеро.

И тогда все надежды Ардак обратились к матери: “Мама, милая, спаси меня, неужели я так провинилась, поиграв в озере?! О, прости, пощади, аллах, мне больно, больно! О, я умираю, горю! Огонь! Пламя! Где ты, мама! Спина, спина переламывается! Мама! Ой-ба-а-а-ай!” — Широко открытые темные глаза Ардак застыли и помутнели, но вдруг они раскрылись еще шире и страшно налились кровью.

— А-а-а-а! — отчаянно, далеко разнеслось над озером.

И вместе с этим криком великое всеобщее ожидание разрешилось — пришел тот, кого ожидали. Одновременно прибежала старая мать Ардак, взлохмаченная, простоволосая, и услышала, как властно и требовательно закричал новорожденный человек. В ту же минуту взмыло над плечом Акшоки солнце, мощные лучи его обагрили вершинные скалы, перетекли через гору и хлынули в воды Маркаколя. Кудрявые волны озера словно обагрились кровью и, тщетно стараясь настигнуть друг друга, мчались к берегу, угасали и вновь возникали, будто тщетная бесконечная вражда людей. Но, как бы ни бросались волны на берег, им было не достичь молодой матери, распростертой на земле в луже своей крови. Так же волнам вражды и зла не преодолеть береговой тверди доброты и родства людей.

И надо всем предгорным краем, над чистым озером и весенними долинами словно склонился необъятный сверкающий лик могучего духа природы. Ухмыляясь в свои солнечные усы, он как бы говорил: это все мое! И дитя мое.

— Дочка моя, что случилось?! — с этим жалобным криком бежал по берегу испуганный Кожа.

Перед ним встала жена и заслонила собою лежавшую на земле Ардак. И что-то подала старику, властным голосом произнеся:

— Ну-ка держи! И отойди, не толкайся тут. — То было первое в их совместной жизни приказание мужу.

Но Кожа ничего не слышал. Высоко приподняв красное тельце младенца, старик захохотал и взревел на все побережье:

— Эй вы, Шалабай и Далабай! И все враги мои! Вот вам, выкусите! Ха-ха! Не возьмут замуж — и не надо! У меня уже есть мальчишка! Эй, старуха! Глупая! Понимаешь ли ты, кто у меня в руках? Это же мальчик, наследник! Мое продолжение...

И старик надежно упрятал внука за пазуху.

И ясное, светлоокое озеро тихо шептало влажными устами волн: “Прости, будь благословен. Это я, я породило тебя. Ты мое дитя...” Озеро словно брало на себя всю вину за то, что явился на свет безотцовый ребенок. В этом мире ему будет трудно, но он получил жизнь.

КЕРБУГУ

А-аууа!

Мощный серый олень Кербугу — так в этих местах зовут вожаков оленьих стад — не пил и не ел сегодня. Ему очень хотелось пить, но стоило только коснуться губами студеной воды родника, льдистых краев его, тонких и узорчатых, словно кружево, как его бросало в дрожь, а ноги слабели так, что, казалось, вот-вот он рухнет прямо на рога.

Тогда он отступал.

Но жажда была сильнее его — она гнала, требовала, жгла его внутренности, и он трижды тихо подходил к роднику и трижды отступал. Он и сам не мог понять, как же так: он хочет пить, вот возле его ног бурлит, кипит и смеется веселый родничок, а он все не может набраться решимости и погрузить в него морду.

Нет, это правда, что он, видно, постарел и ослабел, а это уж такое горе, горше которого ничего и не придумаешь.

Однако через несколько минут он уже думал иначе: нет, нет, это еще не аул его старо-

сти, будут, будут еще у серого оленя-вожака дни веселого базара. И совсем не от старости он ослабел. Просто во время брачного гона три дня ему не пришлось сомкнуть глаз, он не давал отдыха ни ногам, ни рогам — вот и выбился из сил.

Он вспомнил, что и в прошлом году тоже был гон, но тогда он так не выбился из сил, а в позапрошлом году даже с целым стадом самок справился, ни одну из них не обошел. Так что же с ним случилось? Или ранняя осень в этом году была особенно холодна и ветрена, и он просто промерз до костей? Да, но за осенью идет шестимесячная зима, лютый дракон этих мест — не переносил ли он ее всегда, как комариный укус? Правда, нынешняя осень была очень ранней, и солнце сейчас постоянно в тучах, тяжелых и плотных, как льдины во время паводка, Небо стало низкое, серое, с утра до ночи идут дожди. Мелкие, косые, холодные, такие, что, кажется, самую землю они заставят завывать от тоски.

А ветер воеет и воеет, тоже холодный, пронизывающий, и вместе с ним летят куда-то полосы дождя. Но всего печальнее слышать, как воеет лес. Его голос сливается с голосом дождя, ветра, и кажется, это не вой, а песня-плач об утраченных надеждах, и Кербугу — серый олень — испустил протяжный долгий зов:

— Аааа-ууу-аааа!

Голос его уже не был таким, как прежде, но все равно в нем еще чувствовался отзвук былой мощи. Но только отзвук! А раньше эхо разносило его могучие призывы на много километров окрест, и все, что было вокруг,— снежные горы, ущелья, затаившие в себе смерть и ужас,— подхватывало его трубный глас и повторяло стократным эхом. А сейчас его никто не услышал. Просто стоял старый олень над ручьем, взбухшим от дождей, и ревел, не то жалуюсь, не то призывая кого-то на помощь. Но никто не откликнулся на его запоздалый призыв. Где же ты, былая быстрота? Где сила и отвага? Ведь ради них он всегда был готов пожертвовать всем. Нет ни одного момента в его жизни, при воспоминании о котором он не вздрагивал бы от восторга. И вот они улетели, и он стар, одинок, и слезы струятся из глаз.

И все-таки олень не сдастся. Нет, он еще далеко не стар. Это просто молодые маралы своей егзливостью да суровая осень подточили его силы. А так он еще ничего. Так он вполне держится. Отступив от ручья, он крикнул еще раз, призывая свое стадо, но это был не победный крик самца, могучего Кербугу, а зов отставшего оленя. Ответа не было, и, подождав еще немного, он стал подниматься в горы. Но и горы, как назло, стали не те — выросли,

что ли, — он лезет, лезет, а все нет конца уступам и перевалам. Он еле карабкается по камням. У него перехватывает дыхание, першит в горле. Его что-то давит и не пускает. Он остановился, чтобы передохнуть... голова его была опущена. Да, пожалуй, это если не самый конец, то уже сдача, покорность судьбе. Его гордая голова поникла, грудь, некогда высоко вздымавшаяся, обессилела, и все в нем пусто, немо, как в могиле. Дикос упрямое животное, которое каждый год отдавало рога, но никогда не позволяло хотя бы погладить себя, стало тихим и кротким, а это означало высшую ступень унижения. Удар в бок, полученный им в последней схватке (это был сильный удар), снова дал о себе знать, да так, что он чуть не упал.

И подумалось ему тогда, что теперь он только во сне увидит танец юной самки и что никогда не сможет ласково коснуться бока или спины маралихи-матери, гордо проходящей перед ним, что заблудился он в каком-то густом тумане, потонул в омуте быстрой реки, и из этого омута уже более не выплыть. Все это ему подумалось, припомнилось и пронеслось перед ним, и он поднял голову и, содрогаясь от боли и напряжения, каждым мускулом затрубил:

— Аааааа-уууууу-аааа!

Вчера рано утром, когда Кербугу, как обычно, сбил маралих в стадо и повел их в горы,

олени-самцы окружили его, и вид у них был такой, что они умрут, а не отпустят с ним самок. Но недаром Кербугу столько лет был вожаком и каждый год одерживал верх в поединках. Он разогнал маралих и, раздувая ноздри, прокричал «аауууаа». И сразу стадо разделилось. Самки разбежались, а самцы, вздымая рога и взрывая копытами землю, сомкнулись и приготовились к бою. Стали друг против друга и, всхрапывая, косились на Кербугу, каждый надеялся на победу.

Молодой крепкий олень, стоявший против Кербугу, отвел глаза: он дрожал всем телом. Еще бы! Нелегкое это дело — выступать против самого вожака. Но и Кербугу чувствовал себя не лучше. Он и без того знал, что нынешний год для него будет особенно тяжелым, потому и хотел угнать стадо спозаранку. Но молодые олени заступили ему путь. Кербугу взглянул на своего противника: молоденький, с пятнадцатью мягкими отростками на рогах, а Кербугу перед ним робест! Что же будет, когда в конце схватки он останется один на один с самым сильным? Противники постояли, покачивались, преодолевая минутную робость, и вдруг изо всех сил рванулись друг на друга.

Трах!

Начался бой!

Один мощный удар следовал за другим. Крепкие, уже начавшие ветвиться рога со свистом разрезали воздух. Казалось, искры сыплются на землю из рогов и голов. Битва шла не на жизнь, а на смерть, за право быть первым. Прекрасные, словно выточенные руками искусного мастера, головы оленей взмывают вверх и остервенело рушатся друг на друга. Видны лишь силуэты, потому что все обволакивает такой густой туман, какой бывает только на Алтае. Но вот, волоча подол, туман пополз в низину, и тогда стало видно, что на желто-зеленой поляне остались только Кербугу и его соперник — молодой олень Жасбугу. Остальные, потерпев поражение, словно растворились в тумане.

Поединок! Кербугу знал — таков закон мужества и силы могучего племени оленей. Но он не знал того, что этот закон существует и у разумных сыновей Адама и что они даже более кровавы и жестоки. Ведь люди не могут, как олени, отбушевав раз в году, мирно потом жить бок о бок. До Кербугу никаких сведений об этом не доходило, хотя он иногда и задумывался, почему люди держат диких животных в загонках и питают непонятную страсть к полым оленьим рогам.

Где поединок, там и справедливость! Минутное забытье прошло. Перед старым вожаком,

взрывая землю, стоял Жасбугу. Взор у Кербугу затуманился, он с трудом поднял гудящую от тяжелых ударов голову и только тогда понял, что устал по-настоящему. Но Жасбугу все косился на него и все всхрапывал, огромное тело его было напряжено до предела, и он каждую секунду мог ринуться в бой. И в эти считанные секунды он вдруг увидел в Жасбугу не врага, не соперника, а себя самого в дни молодости. И от этого ясного понимания своего конца он закрыл глаза, и в висках у него заломило. Может быть, он в этой позе упал бы, да так и остался на земле, если бы не раздался мощный, призывающий к схватке зов. Молодой олень видел, что вожак ослаб, он мог бы одним сильным ударом в бок расправиться с ним, но был по-оленьи честен. Кербугу почувствовал себя пристыженным. Собрав всю свою гордую волю — наследие диких предков, никогда не подводившее их,— он поднял голову и откинул рога. Широко раскрытые влажные глаза его одновременно и уничтожали противника, и молили о пощаде: «Уступи один раз свой черед, у тебя в жизни все впереди. Уступи... Ведь следующей осени у меня, может, и не будет».

Жасбугу попятился назад и с налитыми кровью глазами приготовился к схватке. На мгновение Кербугу показалось: это не олень стоит перед ним, а жестокий бородатый старик с но-

жовкой, и вот сейчас он начнет пилить его драгоценные рога с восемнадцатью ветвями. И, словно морозным железом, прожгла его обида. Он задрожал от ярости. Вот он, его смертельный враг! Они стоят друг против друга, а в стороне мирно шиплют траву другие маралы, и им безразлично, кто падет, а кто станет вожаком. Кербугу всхрапнул, выбил волосатыми копытами ком земли, отступил. И вдруг молнией метнулся на врага.

Трах!

На секунду он потерял сознание, а когда очнулся, увидел, как, пошатываясь и ковыляя, уходил Жасбугу. Из глаз его брызнули слезы, и он мощно, как в молодости, затрубил:

— Ааааааа-ууууу-ааааа-уууууууууууу!

...Кербугу поднял голову, сорвал пожелтевший лист березы и впервые за утро стал жевать. Туман еще не рассеялся. Пробивая его то там, то сям, падали дождевики-сиротинки. В воздухе было очень сыро. И на земле и на небе — всюду текла вода, стоило тронуть березу, как с нее тоже сыпались капли. Чего ни коснешься, всюду слезы. В мертвом лесу ни души, похоже, на свете остался только один несчастный Кербугу. Не слышно даже его зова. Он один, стада нет.

Да и сил у него не хватило бы для всех этих юных, этих жадных молодых маралих. Потому

сразу же, почувствовав его бессилие, они бросились бежать. Это же непорядок, когда старый дряхлеющий олень разгоняет молодых самцов. Но Кербугу поддавал их рогами, и они бежали туда, куда он их направлял. И молодой олень, проигравший сегодняшнюю битву (он еле волочил ноги и вообще походил на пса, проглотившего иголку), не отставал тоже. Кербугу несколько раз оборачивался, угрожающе наклонял рога, и побитый соперник его сразу же шарахался, убегал, чтобы через минуту снова заковылять за стадом. А стоило Кербугу отвернуться, как все молодницы подскакивали к Жасбугу и начинали его обнюхивать. А тот не зевал Кербугу, одержавший с таким трудом эту свою, вероятно, последнюю победу, понимал, что ни сил, ни желания на все дальнейшее у него нет. И все-таки, раздувая ноздри, обхаживал пахучую озорную молодницу с иссиня-черной шерстью, от которой так и разило крепкой оленьей плотью. А кости у него ломило, и все суставы как бы налились тяжелой желтой жидкостью и нестерпимо ныли. Ведь бой продолжался целый день. Где ты, его сила и ярость? Куда девались те дни, когда он сбивал в кучу десятков маралих и не забывал ни одной из них... И сейчас он тоже на скакивал на молодницу, терся о нее боком, ласкал, прыгал, но в груди его словно лежал черный тяжелый камень, и он

ничего не мог, ровно ничего. И замученная молодница, тоже уже лишившаяся покоя, только безмолвно и жалобно обращала прекрасные глаза свои на молодого Жасбугу, который, не рискуя подойти, все время держался поодаль. У молодницы кружилась голова, она вздрагивала всем телом и, вконец ослабев, жалобно и кротко мычала, покорно поглядывая на своего мучителя. Но увы! — Кербугу был бессилён. Ничего, кроме желания выстоять, не оставалось в его некогда могучем теле. И тут Жасбугу не выдержал — его мутило от этой возни, от этой горделивой стариковской немощи, от того, что старик этот не в силах даже как следует тряхнуть рогами. И он, словно молодой барс, прыгнул на старика. А тот вдруг тяжело рухнул на колени подле молодницы. И тогда Жасбугу с ревом и свистом налетел на него («Сдыхаешь, старый пёс, а лезешь туда же!») и нанес такой страшный удар в бок, что от него старый вожак, десять лет не знавший поражения, упал навзничь. И жалко торчали его бессильно шевелящиеся ноги. А молодницы, увидев это, подбежали к победителю, закружились вокруг него, стали лизать его губы. И в следующее мгновение Жасбугу уже гнал все стадо через перевал. Кербугу тоже еще мог вскочить на ноги и догнать стадо. Если не молодница, то любая другая сильная крепкая олениха-матка не

отвергла бы его. Но уже все желания погасли в нем. И было непонятно, зачем он рвался в этот бой, что хотел доказать, когда отлично знал, чем все это кончится. Эх, старость, старость, почему ты не видишь себя! День, проведенный на базаре юности, обязательно принесет тебе тысячу дней муки и страдания.

Кербугу долго лежал, собираясь с силами. Поначалу, видимо, в горячке, он не ощущал боли. Сейчас все нутро его ныло. Ноги не слушались его, и он едва дотащился до края леса, там, углубившись в чащу, он лег и пролежал, не шелохнувшись, до самого утра. И только когда забрезжил рассвет, медленно подошел к ручью.

Напившись, он стал подниматься на гору. Жухлый березовый лист, проглоченный недавно, очень мешал ему, похоже, он прилип к нёбу, и Кербугу никак не мог освободиться от него. В животе заурчало — перед гоном он не сорвал ни единой травинки. Бока его впали и словно слиплись изнутри. Глухо ныли ростки вновь пробивающихся рогов. Эти рога принесли ему столько боли и несчастья, что он разуверился во всем белом свете. И сейчас он решил отыскать где-нибудь густые заросли кедровника, лечь в них, свернуться и до следующего водопоя или до конца жизни — а до него и осталось не больше вороньего шага — лежать, думать и

вспоминать. Но первое, что он услышал, это ликующий голос покалечившего его Жасбугу. Он донесся из-за дальних отрогов белой горы. Ему был знаком этот ликующий рев. Когда-то, раскроив лоб старому вожаку и завладев стадом, он тоже пел эту громогласную песнь победы. Но мир переменчив, и всему на свете бывает конец.

— Аааа-ууууу-аааа!

Возможно, Жасбугу его плоть и кровь, его сын. Только у него рога не из восемнадцати ветвей, а из пятнадцати. И может быть, Кербугу последний из той редкой породы оленей, что имеют рога с восемнадцатью ответвлениями. И еще может случиться, что от этого молодого глупца, который своим «ауа» оглашает сейчас все предгорья, родится олененок с тринадцатью ветвями, а от того — с одиннадцатью, а потом с десятью и восемью... А в конце концов народится что-то совсем безрогое, комолое, что и оленем назвать нельзя будет. Все возможно. И Жасбугу должен был уважить раскидистые, восемнадцатистые рога старика, потому что у самого никогда таких не будет. Но вот не уважил, а вступил в бой и отобрал стадо. А у бесстыжих маралих какой разум? Кто сильнее, тот их властелин, за тем они и следуют покорно. У маралих ни ума нет, ни рогов, недаром они комолые.

В свое время важенка¹ родила малыша Кербугу в густом караганнике. В полном уединении — сюда ни люди, ни звери не заходили — она дождалась, пока он встал на ноги, и только тогда привела его в стадо. С тех пор чего он только ни перевидел: и доброго, и худого, чему только ни радовался, о чем только ни печалился. Но до сих пор он не в силах забыть свое первое страдание.

Олени тогда мирно паслись на склонах холма и в ложбинах, но вдруг раздались крики и улюлюканье — из-за кустов выскочили всадники с куруками в руках. Кербугу, ошарашенный, стоял, не зная, что происходит. И вдруг он увидел, как на вороной, со звездочкой на лбу лошади прямо на него мчится бородач. И не успел он даже опомниться, как на его рога набросили аркан. Он видел, как олени ринулись в низину, и рванулся вслед за ними. Но люди на быстроногих конях, покрикивая и тесня со всех сторон, загнали его сначала в большую ограду, потом в другую, поменьше. И так он переходил от загона к загону, который все уменьшался и уменьшался, пока не заскочил в маленькую калитку, и она за ним тут же захлопнулась. Кто-то, тыча его длинной палкой, погнал вдоль частокола, потом заставил вскочить на

¹ *Важенки* — самка олсняя.

деревянный помост и отгородил поперечным заслоном. Кербугу стоял и испуганно перебирал ногами. Как и для чего он оказался в этом маленьком помещении, он не понимал. Хотел спастись, а попал в ловушку. И вдруг что-то словно клещами стиснуло его виски, и резко оборвалось, ухнуло сердце, помост провалился куда-то в подземелье. Клеши давили все сильнее, небо упало на землю, лес и горы повисли вниз вершинами, человек вверх ногами, вся вселенная перевернулась в повлажневших глазах оленя. А человек, хозяин этой вселенной, ходил вокруг, держа наготове пилку-ножовку, и в его ненасытных, алчных глазах олень увидел свое отражение. Кривые зубья пилы вгрызались в мохнатые основания рогов, и тут Кербугу показалось, что целый миллион муравьев набросился на его обнаженные мозги и пожирает их, и ох как занули тогда его ровные белые, как жемчуг, зубы. Огромные, испуганные, молящие глаза его налились кровью и чуть не вылезли из орбит. Вот так впервые олень, гордый, вольный, носившийся с холма на холм, из низины в низину наперегонки с ветром, постиг горькое и сладкое начало жизни и вкусил ее.

Его высвободили из тисков, он выскочил прочь, прыгнув, хотел тряхнуть рогами, но комолая голова словно опустела и рассохлась, как

пустой бочонок. И тогда ярость, будто из вулкана, забила в нем. Кербугу одним махом перепрыгнул через вороного со звездочкой коня — он стоял у коновязи — и помчался, как вихрь. Куда глаза глядят. Подальше от людей. Он бежал не переводя дыхания, не останавливаясь и готов был так бежать, пока хватит сил, но перед ним вырос заплот — забор из нарезанных жердей. Кербугу побежал вдоль него в надежде скорее добежать до конца, но забор не кончился. И когда он, обежав все горы и низины, воротился на прежнее место, он понял, что они, олени, живут в загоне. В пространстве, окруженном кольями. Летом загон просторен, они в нем ходят к водопою, пасутся, а когда приходит зима, их сгоняют в загон потеснее. Зимой из незамерзающего ручья они пьют воду, а едят чуть припахивающий силос. Летом же их загоняют в узкий коридор. Настоящей воли для оленей, видно, не было и не будет...

Так и лежал Кербугу под густыми зарослями самырсына¹ и вспоминал о том, как он тосковал по воле, когда у него впервые срезали рога. Сколько с тех пор прошло зим, сколько весен пролетело, столько раз он лишался рогов... Эх, за всю жизнь ни разу не было случая, чтобы он сам, как наступал срок, сбросил свои рога в

¹ *Самырсын* — кедровник.

восемнадцать ветвей. Да, восемнадцать ветвей — это и счастье, дарованное природой Кербугу, и горькое горе его... Недаром люди накидывались на него, словно вороны на кровь, и ставили его в станок раньше всех.

Он долго лежал, дрожа как забитый пес. Никто не пришел к нему. Куда-то исчезли даже люди, обычно в разгар сезона налетавшие, как пчелы, не подошла и ни одна из тех маралих, что во время гона осаждали его и не давали прохода. А куда девались те друзья- олени, что ранней весной пускали его первым разбивать лед и послушно следовали за ним. Все ушли, все покинули старого оленя. А ведь самое страшное и горькое — это знать, что умираешь всеми забытый, одинокий и ненужный. И он опять вспомнил, что, когда он был в расцвете сил и могущества, маралы не давали даже птице задеть его крылом. Он был всегда в центре. И в дни гололеда, и при любой опасности маралы не давали ему быть ни впереди, ни сзади, только в середине стада — так безопаснее! Лучшие травы, самая чистая, прозрачная вода — все предназначалось ему. И вот он, их бывший вожак, лежит униженный и обессиленный. И никто не подойдет к нему. Уныние и отчаяние снова овладели Кербугу.

Хотя бы глоток воды! Тяжелый, свинцовый туман рассеялся, и наконец сквозь деревья про-

глянуло солнышко. Оно словно бы ласково спрашивало Кербугу: как, мол, себя чувствуешь? В низине с грохотом неслась по камням горная речка. Только природа-мать не забыла его. Кербугу поднялся из-под зарослей самырысына, подставил отяжелевший лоб лучам солнца и натужно и хрипло, даже самому страшно стало, коротко крикнул:

— Аааа-ууу-ааа!

Вместе с ним самим угасал и его голос. Он взглянул на снежные вершины невысокой горы, блевшие сквозь дымку.

В детские годы, когда он был маленьким олененком, эта вершина казалась невозможно высокой, а когда он повзрослел, она вроде бы стала ниже, а вот теперь опять высоко упирается в небеса и вновь недосягаема. Эта бело-снежная вершина казалась Кербугу волшебной мечтой. Он тосковал по ней, глядел на нее с надеждой и верил, что однажды его копыта коснутся ее чистой белизны. В трудные минуты жизни стоило ему только прикрыть глаза, как сквозь глубокую дымку выступала всей своей громадой белая гора, его мечта — Акшоки¹ — манила его и звала трубными звуками «аууа». Он не знал, что далекие предки его раньше обитали у подножия этого хребта Акшоки. Свобод-

¹Акшоки — буквально Бслуха.

ные стада оленей не знали курука, выбирали самые тучные и самые зеленые луга с ароматными травами, ходили на водопой к самым чистым и вкусным родникам. Они не спеша переходили от холма к холму, от одной лощины к другой и засыпали, укутавшись в бархатные летние ночи, там, где заставляла усталость. А в иные ночи, когда с небес лила яхонтовый свет полная луна, тысячные стада, пасущиеся там и сям, казались беспечными полчищами таинственного воинства. Позже олени лишились родных мест, и их уже никак не радовали чужие травы и воды, и с тех пор оленье племя год от году стало постепенно вымирать...

Полежав и отдохнув, Кербугу встал и медленно направился к оградс. Деревянная лестница, набухшая от дождя и воды, как всегда, бледно серела вдаль. Так было в прошлом году, было нынче и будет всегда... всегда... Кербугу робко протянул морду и почесался о лесенку. До ноздрей его донесся кисловатый запах мертвечины. Кербугу всхрапнул и покачал головой. Потом отступил на шаг. Он еще раз взглянул на Акшоку, и опять она, словно белая чайка его мечты, белела сквозь голубую дымку. С вершины тянуло легким ветерком. Он был свежим и теплым, как парное молоко, и так же, как молоко это, вливал новые силы и бодрость. И всем тем, кто был долго тут и дышал воздухом

вершин, казалось, что они слышали трубный олений глас, это мощное «аууа», древний боевой призыв силы и дерзания. Вольная, беспечная жизнь! Только здесь, около белых гор, и была она возможна. Но белые горы заграждала мертвенно-неподвижная, скверно пахнувшая, состоящая из кольев, но все равно непоколебимая ограда эта. Не было бы ее, и Кербугу тут не было бы. Он давно бы умчался к белой горе, сунул бы морду в снег, жевал бы его, хрустел, пока не охладил пылающее нутро свое, свое могучее сердце, сожженное горем и жалостью к себе. Так он стоял за проклятой оградой, глядел на белую гору столь долго и пристально, что гора начала колебаться и расплываться, как марево. Кербугу набрал воздуха, чтобы испустить такой крик, такой неистовый рев, от которого бы снега поползли с вершины, а его иссохшая, словно бочка, грудь разорвалась бы на части. Это был прерывистый, надсадный и, если уж говорить честно, жалкий крик: «Ааааууууаааууууааа!»

Но серые слепые скалы даже не удостоили старого оленя своим ответом : как стояли, так и остались стоять, и никто не откликнулся.

А солнце пекло все сильнес и сильнес, и роса, блестящая на синих листьях, как бусинки, опадала и исчезала. Но земля была ненасытна и жадно впитывала каждую каплю.

Раньше здесь пели птицы, а сейчас никого из них тут не было, и только из далекой вышины слышался их крик:

— Прощайте, прощайте, прощайте!

Откуда-то очень далеко, из ложбины, послышался брачный крик молодого оленя, вдруг прозвучал выстрел, и он умолк.

Да, вот так все и происходит — молодые сходятся, старые уходят, слабых убивают, а жизнь все равно продолжается.

Где-то близко сел вертолет: человеку все чего-то не хватает, и вот он залез уже на небо.

Ни во что уже Кербугу не верил, ничего не ждал, во всем разочаровался.

И тут к нему пришли великое бесстрашие и решимость. Ему надо преодолеть эту проклятую ограду и вырваться на свободу. Его тело было разбито и расшатано, у него ломило грудь и схватывало сердце, но он напрягся и зарядил надеждой каждый свой мускул. Этот подвиг мог быть только последним. Сейчас он освободился от всего, что тяготело над ним, — от человека, от его хватких рук, от бесстыдной молодой оленихи, от унижения перед молодыми соперниками, от старости и, наконец, от изгороди.

Глаза у него горели, изо всей силы он рванулся головой вперед — вот она, свобода! Несколько секунд стоял неподвижно, не

понимая, что произошло, а потом, поняв, что ограда позади, что здесь он на вольной земле, что никто ему больше не хозяин, помчался к белой горе.

Он бежал и боялся оглянуться, он не мог видеть эту проклятую ограду! И вот она, мечта его, белая гора! Перед ней стоял какой-то столб, он обнюхал его, потерял носом, потом боком, оглянулся и, содрогаясь всем телом, вдруг затрубил:

— Ааааа-ууууу-аааааа-уууууу-аааа!

И снова в этот миг он был молодым и сильным, и не было в стаде оленя сильнее его. И, наверно, понимая это, все скалы повторили трубный звук, и долго он перекатывался по горам, потому что вся жизнь его закончилась этим «ааууаа».

Да, так оно, вероятно, и было. Он стоял, он смотрел: молодой, сильный, готовый на любой подвиг, и в это время две пули впились в его рога, в те две горящие пульсирующие точки боли, которые остались от рогов. И старый олень Кербугу, вожак, не знавший до этого поражений, рухнул на землю.

Он даже ногой не шевельнул, он был мертв, и все.

Непонятно, как это случилось, но выстрелили с разных сторон и, наверно, сразу же испугались друг друга, поэтому никто не приблизился к мертвому оленю. Так он и остался

лсжать под белым столбиком, на ничейной поляне, могучий и не знавший поражений до этого дня вожак Кербугу:

Никто к нему не подошел, никто не взял на себя этот выстрел на вольной земле в вольного оленя. А между тем из загона, над деревянными жердями, гремел ликующий трубный глас, и все покорное стадо, все молодые самцы и самки сбсгались на него.

Это торжествовал свою победу новый вожак. Жасбугу.

Вот и все. Но не все примирились со смертью Кербугу, молодые и пылкие уверены, что он гуляет по склонам белой горы, и порой даже как будто можно услышать его трубный глас «аауа». Он свободен. Но другие, постарше, знают свое — олени могут быть свободны только на том свете.

БУРА

*Одинокому верблюжонку,
оставшемуся на привязи*

Автор

Бура с ревом промчался через аул Казакбай.
И проклятие было в его крике.

I

Когда человек ждет утра как избавления, то круглыми становятся его глаза в ночи. Печаль склоняется над ним, отгоняя пугливые сны. Так же тоскует и любое живое существо, если лишить его друзей, с которыми проводил дни в веселых играх и беззлобных ссорах. Бура не жалел о прошлом, скользнувшем, как солнечный луч. Но часто, причиняя себе сладкую боль, брел он по мягким барханам былого, и Сахара была для него явью. Ветер ласкал нежную шерсть на его стройной шее, когда он шел и шел за своим миражом, за надеждой, которая всегда умирает в душе последней. Даже внимательный взгляд увидел бы только спокойного, величавого гиганта, мерно жующего жвачку и равнодушно озирающего поднебесную. Бура был слишком горд, чтобы дать прорваться

чувствам. Он молча шагает, ведет за собой караван дней-теней, и боль его непонятна и невысказана. Хоть и говорят люди: «плаксив как двугорбый», но сухи его большие глаза, и только закатные блики проплывают в них. Все потерял Бура, но никто не слышал от него стога. С тех пор, как тростник выпустил султаны и к солнцу пробилась трава, обходит он аул стороной. Неужели забыл он жилье, где был окружен заботой и лаской? Нет. Нет для Буры места родней и прекрасней, теплей и ближе. Но он покинул его. Он бы остался, если бы мог забыть влажные глаза верблюдницы, матери своей, которую при нем зарезали на мясо. Он бы остался, но дружное созвездие его братьев распалось вдруг на осколки, и каждый ранит сердце. Его маленькое теплое племя было угнано в чужой аул за Бухтарму.

Разогнали без жалости в разные концы, разорвали нежные нити, связывающие их, отвергли как прокаженных, безвинных перед богом и людьми. В сердце впилась рогатина, направленная жесткой рукой, страшная, как раздвоенный язык змеи. В чем их вина?..

И зверь умест тосковать. Шесть месяцев не вспоминал свой аул Бура. Но, как только зелень пробилась к солнцу, неудержимо потянуло его к горам. Алтай богат и прекрасен. Сорок племен и народов считают его своей родиной. Всем

здесь хватает места. Снежные пики дают приют проплывающим облакам. Долины тихи и зелены.

С гор постоянно свистит надоедливый ветер, колыша густой серебристый ковыль, и он становится тогда похожим на разгневанное море под яростными порывами бури. Безлюдная и невеселая, расстилается эта равнина до самых гор. Только весной оживает она, когда народ откочевывает в горы и все вокруг полнится смехом, криками, песнями. Изредка приподнимают тяжелые головы холмы и курганы, а так до самых гор тянется однообразная степь. Кос-где виднеются развалины брошенных домов или старых мавзолеев. Выбеленные солнцем проплешины похожи на солончаки. Невеселое место. Но что с того? Живописно ли, мрачно ли — нет родней этих мест для Буры. Шагает вперед Бура, и холм течет под его ногами.

Не впервой идти ему этой трудной, извилистой дорогой на джайляу. Но впервые он так одинок. В прежние годы был легок и весел этот путь. Едва покрывалась зеленью степь, люди собирали пожитки и трогались в путь. Шли и они все вместе. Самую тяжелую поклажу несли сильные и опытные верблюды и лошади. Жеребята и верблюжата резвились налегке, не отставая от кочевья, и никто их не подгонял. Когда же осень запахивала свой золотой халат

и желтели покорно травы, люди спускались в долины, цепочкой тянулся караван по старой тропе, словно большая тень журавлиной стаи, спешащей в жаркие страны. Все были веселы и здоровы. Даже у рабочих верблюдов, не знавших покоя, туго торчали горбы. Это были счастливые времена.

У самого перевала Бура остановился. Здесь, перед трудным подъемом, обычно кормила его мать теплым молоком. Может, вспомнилось ему то далекое милое время. Может, просто устал от долгого однообразного пути. Ноздри его были порваны веревочной петлей. Бура нехотя приюхивался к травам, и есть ему не хотелось. Он вытянул длинную шею и долго смотрел на перевал. Потом медленно повернул голову и оглянулся. Справа, под горой Тасшоки, была старая зимовка.

Здесь спасается от морозов отара, и, едва сойдет снег, ее гонят за перевал. К кошарс и направился Бура. Неприглядным было это место. Сломанные полозья саней, битые бутылки, голенище старого сапога, кучи овечьего помета и грязное птичье перо. Запах болотной гнили отравлял воздух. Медленно ступая, Бура подошел к деревянной кормушке, потрескавшейся от солнца, ветра и времени. В одном конце собралась ржавая вода, скопившаяся после недавних ливней, в другом спеклась крупная

грязная соль. Бура уронил голову и жадно лизнул соль. Но, видать, еще раньше здесь разлили мазут, и верблюд поднял голову, зафыркал недовольно. Потом он двинулся к пустой кошаре. Крупные желтые мухи облепили густо влажный навоз и шумно взлетели под чавкающими шагами Буры. Двор уже зарос черто-полохом. Кое-где были разбросаны жесткие стебли сухих трав, оставшихся от овечьего корма. Бура вытянул шею и похрустел стеблями, хотя было довольно свежей травы кругом. Потом он почесался о деревянный угол, с наслаждением раздирая свой облезлый бок, и двинулся дальше к перевалу.

Издали он походил на большого жука. Не огромным верблюдом он был, а песчинкой в этом безлюдном царстве, единственной живой душой во всей поднебесной. И нес он неприлично тяжелый груз — всю тяжесть веков безмолвия и одиночества. Время обогнало его неторопкий шаг. Отставший от эпохи, он медленно брел один, и не было в его глазах жизни. Не знал Бура, что он еще нужен людям и что нынешнее его одиночество порождено недоразумением. Вдаль его вели обида и боль. А боль слепа. Шел Бура, большпой среди людей и маленький среди гор. Но что говорить о верблюде, когда и человек покидаст в обиде родные места, обрекая себя на тоску, вечную и глубокую.

Солнце клонилось к закату, когда Бура вышел на персвал. Отсюда виден уже край летнего джайляу, знакомого Буре. Дальше тянутся холмы, поросшие густыми рощами.

Ближе к знакомым местам бодрее пошел Бура. По дороге напился из непокорного горного ручья Кайрак-ты, кипящего холодным гневом, пожевал немного травы на берегу, она пахла мятой и была горькой, как далекое воспоминание. Он не стал задерживаться здесь. Бура увидел круглую выжженную полянку — на этом месте стояла юрта. Он долго вдыхал знакомые запахи и не мог уйти, не вспомнив что-то очень важное. Его не могло отвлечь ни красное от усталости солнце, возвращающееся в свой золотой дворец, ни дружный концерт лягушек, одетых в изумрудного бархата камзолы, ни крики горных текс. Он искал мучительно и настойчиво. На высохшем от солнца и ветра столбе сидели злобно-мудрые вороны. «Поганые птицы!» — презрительно выпятилась верблюжья губа, и Бура стал чесаться об этот столб. Вороны тяжело взлетели. И тут словно вспомнил что-то черный Бура. Повернув голову, посмотрел он на место юрты. Снова закурился дымок над тем очагом. На выжженном кругу встала шестикрылая большая юрта. Пятнадцать прекрасных скакунов рыли копытами землю невдалеке. Чуть

в стороне блеют пушистые ягнята и маленький пастушонок грызет кислый курт. Из юрты вышел верблюжатник Абиш с посохом в руке. Все были тут, только своих верблюдов не видел Бура. Не было их в этом колхозном ауле. Показалось ему, что жалобно плачет в тугаях только что рожденный белолобый верблюжонок. Ноздри Буры раздулись от жалости, и он громко всхлипнул. Пропала белая юрта, исчезли горячие кони, и стих плач верблюжонка. С гор тянуло прохладой. Северный ветер примчался оттуда, и тюльпаны запоздало закланялись ему вслед.

Но и старая стоянка не удержала Буру. Он двинулся дальше в горы. Каждое деревце, каждый камень здесь знакомы ему. Теплая дрожь прошла под шкурой. И новое желание охватило Буру. Весело и шумно бывало на прежних кочевках, но ни разу еще не приходилось ему бывать на вершине горы. Что ему было делать там прежде, на голой вершине, когда его окружали друзья и на склонах полно было сахарной травы. Но куда ни толкает отчаяние одиночества — не только Буру, но и человека! Уже заплетались ноги от усталости и клонилась к земле отяжелевшая голова, но он поднялся на гору. И людское селение теперь лежало под его ногами, а Бухтарма вилась серебряной лентой. В дымке, в тумане лежит его родной аул. Давно

не видел его Бура. Он показался верблюду маленьким и грустным. Он не замечал этого, когда жил там. А может, он только серость и невзрачность замечает. Обида бельмом в глазу. Бура внимательно осмотрел все вокруг: овраги, вершины, леса. Вытянув шею, посмотрел он на все четыре стороны. Создатель! Как же он раньше не видел? Вьется по горе Улыстау дорога, избитая кочевьями. Где берет она начало и куда проводит в конце? Чья это дорога? Кто по ней ходил? Тянется безлюдный след через лысую гору, вьется веревкой, змеей скользит. Проходят годы, не зарастает. И непохожа она на другие пути, по которым хаживал Бура. Нет, не ходил он никогда этой тропой, да и братьям его разлученным не приходилось шагать по ней. Его предки проложили этот путь. Тяжелые и косматые, еще более дикие, чем он сам, выносливые и терпеливые, вытоптали они эту тропу, оросили потом, и не растет здесь трава с тех пор. Уже в те времена шли они в разные концы земли, покорные воле человека, своего господина. Несли грузы, тюки с товарами, слезы, надежды и радости людские на безобразных горбах. Случалось им видеть кровь. И раненых хозяев уносить на себе от смерти тоже приходилось, не оставляя несчастных в руках врага. Станные существа, рабы аллаха, убивающие друг друга! А молоко верблюдиц

не раз спасало от голода их самих, и безволосых их детенышей. Жизнь текла с сосков аруан.

«Дальняя, долгая дорога! Мы прошли, ты осталась нам памятью. Тебя проторили верблюды. Пусть это не будет тебе в укор...»

Тревожное чувство охватило Буру. Глаза его загорелись злобой. Захотелось ему от отчаяния удариться о землю. «Будь на мне груз всего аула, и то я не посчитал бы его за тяжесть, шел бы и шел в какую угодно даль по этой тропе и не знал бы усталости. Зачем я один!»— хотел крикнуть Бура, но не смог.

...Нежное детство его началось с ласки и радости. Когда он лежал, еще мокрый весь и беспомощный, забрали его от матери и внесли в юрту, за красный батистовый полог. Десять дней держали его там, скрывая от посторонних глаз. Рябая жена верблюжатника Абиша не отходила от верблюжонка ни на шаг. Когда он стал подниматься на непослушные, дрожащие ножки и черные большие глаза его туманил страх, жена Абиша поила его растопленным курдючным салом жирных овец, и добрым было ее рябое лицо. Когда его впервые выпустили на волю, на залитую солнцем поляну перед юртой, он зашатался на слабых ногах, голова пошла кругом от восторга, и пытался он бежать к сахарным горам, да только шатался.

Он не забудет того полного детского счастья, когда ласкали его натруженные руки Абиша и теплые ладони его рябой старухи. О жизнь!

Маленький Бура, едва вставший на ноги, потерял мать. Ее нагрузили солью и увели куда-то. Горькой была та соль и для верблюдицы, и для него, несмышленища. В поисках своей белой матери забрел он в березовый лес. Все вокруг заливала луна, и свет ее был чем-то похож на молоко верблюдицы. Черные тени тяжело и бесшумно скользили над деревьями. Хлопали крыльями потревоженные птицы. И охваченный ужасом верблюжонок уже и плакать больше не мог. Ему просто хотелось спрятаться, ничего не видеть. Но вдруг пропал его страх, он почувствовал себя частью этой загадочной природы, и его больше не пугали ни беспокойные птицы, ни резвые зайцы. Все стало похожим на старый сон, виденный когда-то, столетия назад, и сам он был частью этого сна. Вдруг свистнуло что-то в ночи и змеей захлестнуло его длинную шею. Волосяной аркан! Страшная сила дернула его, и стало больно в горле. Что было дальше, верблюжонок не понимал. Он подчинился этой грубой силе. Да и как ему было не послушаться? Понял только, что полонили его чужие люди, у которых не было запаха Аби-

ша. Когда же пришел в себя, то почувствовал, что нежно ласкают знакомые руки его шею там, где причинили боль железные руки чужих. Он открыл глаза и увидел Абиша. Теперь он был спокоен. Снова услышал знакомый голос хозяина: «Верблюжонок мой, глупыш... Как могли решиться тебя зарезать?... Да развеса твоего могло хватить на зиму этим воякам? Съесть мясо такого мальчика равносильно убийству. Жестокие люди!»

Слезы Буры скатывались горошинами в вековую пыль кочевой тропы.

Звуки доносятся издалека, заполняя жизнью эти безмолвные горы, мертвые камни. Едва слышные, прилетают они сюда, как дыхание спящего ребенка. Это не крики табунщика, не голос объездчика, не вопли ночных птиц. Кажется, тихая песня тоскует где-то вдали. Эти грустные звуки плывут по горам, навесая на них удивительные сны. Дремлет перевал Тасшоки. Ни слабого ветерка. Покой. Затихли громкокрылые утки, умолкли веселые кузнечики, только печальные звуки растут непрерывно, трогая сердце грустной мелодией.

Красивая песня полна сожаления, мольбы, ожидания. Горы, казалось, почернели от жалости. Загадочный лес тоже молчит, тоже слушает. От этой песни болит сердце. Но песня ли это? Звуки непохожи на обычный верблюжий

плач, это другое, непонятное, никогда не слышанное, не похожее ни на одну песню. Крик ли тоскующего сердца, мольба и отчаяние? Не-ет, нет! Может, это обида мечется над горами, такая обида, что даже здесь ей тесно и душно? Не-е-ст. Или это поминальные плачи? Нет! Это горечь неизлечимой, запрятанной тоски. Это ужас перед туманным, угрюмым рассветом, не сулящим добра. Да, эти стенания невозможно повторить. Непохожа мелодия плача, ворвавшегося в ночь, ни на «Елимай», ни на «Корлан» и «Жанботу», ни даже на легкие «Менды кыз» и «Аймажан». Наливаются горы чернотой. Опускается ночь. Бура, плача, не уходил с тропы, а тьма становилась все гуще.

2

Исчезновение черного Буры не внесло особых изменений в жизнь аула Казакпай. А Буры уже не было год. В прошлые времена, когда кочевали они вдоль Кызыл-каина, этого не могло случиться. Тогда все садились на коней и искали, и находили, даже если пропадал не верблюды, а пуговица. С тех пор разросся аул, выросло много новых домов, стало крупным хозяйством, и люди реже стали навещать друг друга, и только горе и праздники собирали их вместе. Пропажа черного Буры не оставила

спокойным только Абиша. Всю жизнь он ходил за верблюдами, и, может, поэтому был ему особенно дорог последний, Бура. Когда пропал верблюд, то крепко ругал в сердцах руководство колхоза старый Абиш. Он даже на работу перестал ходить. Думал он, что позовет его бригадир на работу, но никто даже близко к двери не подходил. Напрасно ждал и надеялся Абиш. И было ему горько. И гордый, упрямый старик выдумал себе болезнь, ломоту в пояснице и подолгу лежал не вставая. Не привык он ходить на поклон. Иногда заглядывал внук.

— Ата,— говорил он.— Бура наш бродит у подножия Тасшоки. Видели его в Теркуысе.

Приносил внук деду слухи о Буре, пытаюсь утешить старика. Думал Абиш сам отправиться на поиски, да не было под ним коня. Идти же просить заведованием он не мог себя заставить.

— Буру разорвали волки!— ворвался как-то внук. Старик вскочил с лежанки. Лицо его исказилось от гнева.

— Не болтай ерунды!— взревел он.— Запомни, щенок, мы с Бурой никогда не станем пищей для волков и врагов!

3

А Бура в это время перешел в пески Нарына. Наступили холодные дни. Небольшая по-

земка перешла в буран, и ярость его не утихает уже несколько дней. Под порывами ветра покорно трепещут заросли чия, ломаются с хрустом под тяжелыми ступнями озябшего Буры. Долго он не хотел поддаваться холоду, но буран хлестал его зло по впалым бокам, круша кости. Бродил Бура вдоль железной дороги — здесь гуще рос чий, больше было корма.

Несколько лет назад, когда в этих местах нашли руду, Бура был совсем еще несмышленышем. Началось строительство дороги. Не посмотрели тогда на его возраст, приказали Абишу приучать его к поклаже. Был Бура не таким строптивым, как его брат Акпас, и быстро постиг нехитрое искусство. Таскал шпалы, песок, камни и тяжелые рельсы. Это было время, когда не осталось в ауле Казакпай даже малого верблюжонка. Все животные были угнаны на строительство. Все верблюжье племя испытало тяжесть труда на этой дороге, что тянется далеко на восток. После этого верблюдам уже не приходилось выполнять такую тяжелую работу. Эта была последней.

Черный Бура был с детства спокойным и послушным, не то что бура Акпас. Самое крайнее, что он выделывал в пору свадеб, — это обильно плевался. Правда, разъярившись, иногда гонялся за окружающими. А бура Акпас однажды в феврале особенно сильно взбесился. Носился, громко гудя,

роняя пену крупными хлопьями, оскалив пасть. Проезжал мимо совхозный зоотехник, ничего не подозревая, и взбешенный Акпас вдруг погнался за ним. Хорошо, что быстрый конь был под всадником. Сначала расстояние между ними не сокращалось, но ослепленный яростью Акпас все же стал нагонять коня. Испуганный конь в несколько прыжков пронесся по льду реки Карасу, бывшей на их пути. Тогда Акпас, упав на бегу на передние колени, широко раздвинул задние ноги и, скользя, пролетел через реку. Словно догадался, что не удержится на ногах; зоотехник, не ожидавший этого от верблюда, пришел в ужас. Гоня скакуна изо всех сил он устремился к лесу. Ему бы удалось убежать. Зоотехник понял это. Он ударил коня плетью и, проезжая под высоким деревом, уцепился за сук и кошкой взлетел чуть не на вершину. Акпас долго терся о ствол этого дерева, силясь свалить его вместе с человеком. Потом, задрав голову, посмотрел вверх. Роня пену, забил ногами по земле, взрывая ее, и улегся под деревом, готовый ждать своего врага хоть вечность. Челюсти его равномерно двигались, собирая зловонную слюну, перемалывая жвачку.

Абиш в то время был болен и лежал в районной больнице. Никто, кроме него, не мог увести буру. Надо было спасать зоотехника, и буру Акпаса застрелили.

Черный Бура не был похож на брата. Но сейчас что-то случилось с ним. Две недели ничего он не ел, покорный зову природы. Глаза у него налились кровью, ослепляющей, страшной во время свадеб. Может, сказалось его долгое одиночество? Но он бродил, беспокойный и встревоженный, разбрызгивая пену, скрежеща зубами. Не находя себе места, метался Бура с ревом, похожим на короткое гудение. Безлюдная степь слышала его отчаянное: «Бу! Бу!» Если бы кто попался, то Бура растоптал бы его, раздавил, уничтожил. Но никого нет в голой степи, кроме него самого. Ни мышка даже не пробежит, ни птица не бросит тень на равнину.

Теперь Бура был похож на злого своего брата Акпаса. Но тот бесился от безделья, а этого, видно, проняло одиночество. Глаза его ввалились от голода, не остриженная вовремя шерсть свалаялась, перемешалась при линьке с новой, висела клочьями на брюхе. На теле его виднелись проплешины, горбы отощали, свалились набок, не торчали, как прежде.

Не по себе было Буре. Все чаще и чаще раздавалось его «Бу! Бу!». Казалось, только занялся рассвет куцего зимнего дня, глядь, уже и к вечеру клонится время. Неподвижная, мертвая степь, безжизненная равнина. Всю ночь вывшая волчицей метель унялась наконец. А Бура все ищет какос-нибудь живое существо. Подолгу

всматривается он в даль, обманчивую и безнадежную. До боли в глазах всматривается. Хотел он зареветь от отчаяния, но рот его был полон горькой слюны.

Хотелось заплакать ему, да не было слез. Хотел умереть, да что-то не торопилась смерть. Что делать? Куда идти? В аул? Не приведи господь! Его там пристрелят, как Акпаса. А такой смерти он не заслужил «Бу-бу-бу-бу!»

— У-у-у-у! — пронзительно откликнулся паровоз. Встрепенулся Бура. Он не знал, что идет поезд. Голос! Он услышал голос! Древняя память подсказала ему, что он уже слышал его в прошлом. Может, так зовут друг друга самцы на бой за обладание белой верблюдицей с большими влажными глазами, мечтающими о несбыточном. Снова забилась тоска, Бура шел на властно зовущий голос.

Черный султан дыма висел над поворотом, стучали на стыках колеса. Груженные лесом, углем, железом, текли караваном вагоны. Вот состав поравнялся с Бурой. Взревел Бура, и дремучая ярость ослепила его. Не думал он о том, что мал и слаб перед этой громадой. Он бросил свое измученное тело прямо к составу. Пена летела из пасти снежными хлопьями. Дыхание струями пара рвалось из его ноздрей. Одно желание опрокинуть и растоптать поезд гнало Буру. Вот он грудью бросился на вагон.

Страшная сила смяла его и отбросила далеко в сторону. Вскрикнул паровоз. И мчались мимо поверженного Буры равнодушные вагоны. Бура лежал в стороне от дороги с разбитой грудью. Из его пасти шла кровь, перемешанная с пеной. Агония ломала его тело. И шел он по золотому, знойному оксану, вдыхая запахи сильных пряностей, и бронзовый колокольчик на его шее предсказывал долгий-долгий путь.

Судороги свели ноги Буры. Хрипло рванулось дыхание, последнее в этом мире. И запоздалая чистая слеза выкатилась из его мертвых глаз. Окаменела степь от горя. Сковало ее долгое молчание. Осиротела она без Буры. Так погиб последний верблюд из аула Казакпай.

* * *

Не встававший с постели старый верблюжатник Абиш, услышав о смерти Буры, в тот же день пошел к заведующему просить лошадь.

— Все же немало он пользы принес в свое время. Было бы жестоко оставить его кости в степи. Надо привезти и предать погребению. Может, еще шерсть пригодится на что-нибудь.

— Брось! И человек смертен! Чего там зря лошадь гонять из-за дурного верблюда! — отказал начальник. Обиженный Абиш вернулся домой, пряча за спиной уздечку. Но не забывал старик черного Буру.

Едва начал таять снег и потеплело, взял он с собой внука и пошел пешком в пески Нарына. Там он согнал мерзких мух с уже гниющей туши и похоронил Буру. Всю дорогу нес он на плече деревянный кол. Сейчас он вбил его на могиле Буры. Это был даже скорее столб. Внуку велел написать химическим карандашом: «Здесь покоится Бура, погибший при схватке с поездом». Но слова эти, написанные корявым почерком, были смыты дождями.

Мимо этого места дважды в день проходят поезда. Люди, сдушие в теплых купе на удобных диванах, не обращают внимания на выбеленный солнцем и ливнями столб на холме. Если и заметят, то думают, что это межевой знак землемера. Неведомо им, чьим потом обильно орошена эта удобная дорога. И не знают они, что не осталось в ауле Казакпай ни одного верблюда. Но, может, и не забывают все же черного Буру люди? Ведь приветственно гудит паровоз каждый раз, проезжая здесь. Заглушает скорбный гудок торопливые рассказы колес об одиноком Бурс. Э, да это вовсе не поминальный плач по Бурс, погруженному в вечный сон о золотых песках...

Поезд мчится, торопится, летит...

Какая сила его удержит? Нет такой силы!

СОДЕРЖАНИЕ

Ардак. Рассказ. Пер. А. Кима	3
Кербугу. Рассказ. Пер. Ю. Домбровского	29
Бура. Рассказ. Пер. Б. Молышулы	51

Серия “Библиотека казахской прозы”

Оралхан Бокеев

АРДАК

Рассказы -

(на русском языке)

Редактор Б. Ильясова

Художник В. Логинов

Худ. редактор Ш. Байкенова

Техн. редактор С. Бейсенова